



ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. А. БЕСТУЖЕВЕ

I

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ А. А. БЕСТУЖЕВА (МАРЛИНСКОГО)
1797—1818 ¹

Всякий раз, когда я пытаюсь воскресить в своей памяти самую отдаленную эпоху нашего детства и думаю о брате Александре, он постоянно представляется мне в полулежачем положении, в больших вольтеровских креслах, с огромною книгою в руках. Меня, как ребенка, прельщали иллюстрированные картинки, изображающие костюмы и быт разноплеменных народов, и я по целым часам стоял позади кресел, чтоб дожждаться, когда брат, прочитав текст, откроет новую картинку. Помню, с каким снисходительным терпением он удовлетворял моему любопытству; объясняя мне, что вот этот калмык, этот самоед, а это алеут, рассказывал, как они живут, как ездят в санках на оленях или как плавают в байдарках; как промышленяют бобров и других зверей, и потом, увлеченный желанием продолжать чтение, безжалостно прогонял меня, несмотря на мои неотступные просьбы показать и рассказать другие картинки. Эти сцены повторялись часто и, сколько я помню, всегда в том же отцовском кабинете, в тех же вольтеровских креслах, стоящих подле огромного шкафа, где помещалась библиотека избранных книг. Отец наш как человек весьма просвещенный по тогдашнему времени собрал

в ней все, что только появлялось на русском языке примечательного; в другом отделении были книги на иностранных языках. Вход в кабинет нам не был возбранен, где на больших столах были разложены кисты бумаг, в шкафах за стеклами и на высоких этажерках были расположены минералы, граненые камни, редкости из Геркуланума и Помпеи, обделанные из редких камней вазы, чаши, канделябры и проч.; но ключи от библиотеки доверялись только при л е ж н о м у С а ш е; и тогда как мы, меньшие его братья и сестры, довольствовались позволением любоваться только золото-расписными корешками книг, Саша имел право брать любую книгу, но читать ему позволялось только с позволения отца. Гордясь ли этою привилегиею, или точно увлекаемый любознательностью, но он читал так много, с такою жадностью, что отец часто принужден был на время отнимать у него ключи от шкафов и осуждал его на невольный отдых. Тогда он промышлял себе книги контрабандой; какие-либо романы, сказки, как, например: Видение в пиринейском замке, Ринальдо Ринальдини, Тысяча и одна ночь и подобные, и поглощал их тайком, лежа где-нибудь под кустом, в нашем тенистом саду.

Странно, эта привычка детства — читать лежа — сохранилась у него и в зрелых годах. По большей части он и сочинял лежа, проснувшись или ложась спать. Если же ему приводилось, что прилечь было некуда, то он на первом попавшемся под руки лоскутке бумаги, часто на выкройках сестер, чертил каракульки, прикурнувшись и свернувшись к а л а ч и к о м, как мы тогда называли. С пером в руках он совершенно отчуждался от окружающего его мира: музыка, говор, песни и танцы его не развлекали. Случалось часто из необходимости или просто из шутки, его оттесняли на край рабочего дамского столика, и тогда только, инстинктивно сознавая, что уже нет места, он перекочевывал из одного угла в другой, не замечая общего хохота, возбужденного его рассеянностью. Он всегда говорил: «лететь мыслию я могу только с пером в руках»,

но с такими перьями, какими он писал, едва ли можно было высоко подняться, потому что он их безжалостно грыз и обкусывал, так что иногда от пера оставалось едва столько, чтоб захватить тремя пальцами.

Ежели на ребенка, как на самое впечатлительное существо, кладет неизгладимую печать все его окружающее — худое или доброе, — то наше детство было поставлено в самое благоприятное положение. Отец — артиллерист екатерининских времен, вышедший за ранами в отставку еще в полной жизненной силе, был человек образованный, преданный душою науке, просвещению и службе родине. Это нравственное направление невольно сблизило его с графом Строгановым, человеком тоже весьма просвещенным, душою добрым, старавшимся заслужить имя мецената покровительством и поощрением искусств, наук и художеств. Они взаимно уважали друг друга: граф просил отца принять под свое ведение его канцелярию и доставил ему место главноуправляющего екатеринбургскою гранильною фабрикою, которая обязана была готовить ко двору изящные произведения из даров природы, добываемых из недр уральского хребта. Отец поднял фабрику из ее ничтожества; с одной стороны, прекратив злоупотребления, с другой, введя строгую отчетность, он нашел средства представлять ко двору произведения истинно изящные, носящие печать изобретательности и вкуса. Для подобных результатов он должен был войти в близкие сношения с лучшими профессорами Академии художеств, с известным литейщиком Екимовым, устроить на разумных началах бронзовую фабрику и образовать мастеров-техников. Имея сношения со многими горными чиновниками, служившими в Сибири, и любя науку во всех ее разветвлениях, он тщательно и с знанием дела занимался собранием полной, систематически расположенной коллекции минералов нашей обширной Руси, самоцветных граненых камней, камеев, редкостей по всем частям искусств и художеств; приобретал картины наших столичных художников, эстампы граверов, модели пушек, крепостей и знаме-

нитых архитектурных зданий, и без преувеличения можно было сказать, что дом наш был богатым музеем в миниатюре. Такова была внешняя обстановка нашего детства. Будучи вседневно окружены столь разнообразными предметами, вызывающими детское любопытство, пользуясь во всякое время беспрепятственным доступом к отцу, хотя постоянно занятому серьезными делами, но не скучающему удовлетворять наше беспокойное любопытство; слушая его толки и рассуждения с учеными, артистами или мастерами, мы невольно, бессознательно всасывали всеми порами нашего тела благотворные элементы окружающих нас стихий. Прибавьте к этому круг знакомства, не большой, но людей избранных; дружеские беседы без принуждения, где веселость сменялась дельными рассуждениями, споры без желчи; поучительные рассказы без претензии на ученость; прибавьте нежную к нам любовь родителей, их доступность и ласки без баловства и без потворства к проступкам; полная свобода действий с заветом не переступать черту запрещенного, и тогда можно будет составить некоторое понятие о последующем складе ума и сердца нашего семейства, а особенно старших членов, как более взрослых, следовательно, более умовосприимчивых.

Брат Николай был первенец, следовательно — любимое детище родителей. «Но эта горячая любовь, — говорил мне брат Николай, — не ослепила отца до той степени, чтоб повредить мне баловством и потворством: в отце я увидел друга, но друга строговеряющего мои поступки.* Я и теперь не могу дать себе полного отчета, какими путями он довел меня до таких близких отношений. Я чувствовал себя под властью любви, уважения к отцу, без страха, без боязни непокорности, с полной свободой в мыслях и действиях, и вместе с тем под обаянием такой непреклонной логики здравого

* Что видно из писем, случайно сохранившихся из корреспонденции отца с гардемаринном-сыном, бывшим на корабле, под команду капитана Лукина.

смысла, столь положительно точной, как военная команда, так что если бы отец скомандовал мне: направо, я бы не простил себе, если бы ошибся на полдюйма. Доказательством всесильного влияния этой дружбы на меня был следующий случай. Приязненные связи отца к властям Морского корпуса давали мне случай пользоваться их снисхождением, так что мало-помалу я сделался первостатейным ленивцем. Долго это скрывалось от бдительного его надзора, наконец, скрывать долее уже было невозможно; он все узнал. Вместо упреков и наказаний он мне просто сказал: ты недостойн моей дружбы, я от тебя отступлюсь — живи сам собой, как знаешь. Эти простые слова, сказанные без гнева, спокойно, но твердо, так на меня подействовали, что я совсем переродился; стал во всех классах первым, вышел по экзамену первым, и, дело небывалое, не в пример другим, назначен корпусным офицером с правом преподавать уроки по трем предметам.

Держался ли отец подобной системы воспитания относительно брата Александра, тогда моему ребяческому уму постигнуть было не под силу; и сведения, сообщенные мне впоследствии братом Николаем, отчасти подтверждают, что и с ним он поступал точно так же. «Перед моими офицерскими эполетами, — говорил брат Николай, — настезь отворились двери светской жизни; в вихре рассеянности я часто терял из виду брата Сашу, тем более, что он уже был тогда в корпусе. Когда же мы видались, то я замечал, что он уже находился под тем же влиянием, под каким находился и я».

Я же, с своей стороны, убежден, что отцу не для чего было изменять системы воспитания для каждого из нас, когда она так хороша была в приложении. В этом я еще более уверился, прочитывая впоследствии его журнал, веденный им с самого поступления в Горный корпус. На заглавном листке этого любопытного дневника красовался эпитафия собственного его сочинения, который говорил: «р у к а дер з к о о т к р о е т ; д р у г у я с а м п о к а ж у». Мне очень памятен тот день, когда, в горделивой позе, весь сияющий торжествен-



А. А. БЕСТУЖЕВ.
Миниатюра Р. Вильчинского. 1835 г.

ностию, Саша заставил меня прочитывать этот высоко-знаменательный эпиграф.

— Понимаешь ли ты, что тут написано? — спросил он меня, когда я вопросительно смотрел на него во все глаза.

— Да что ж тут понимать? — отвечал я ему наивно.

— Как что? — и он с профессорской важностью начал мне читать о святых обязанностях друга и как лестно для меня, что он удостаивает брата именем друга. — Братом может быть всякий, — заключил он, — а другом — дело иное.

Жаль и очень жаль, что этот любопытный дневник десятилетнего кадета затерян или истреблен им, что, впрочем, не могло случиться ранее 1825 года, потому что я читал его незадолго до этого времени. В этом тайнике его чувств и помыслов, писанном собственно для себя, без всякой претензии на авторство, без обдуманного плана, с детской наивностью, можно было уже заметить зародыши будущих талантов и недостатков его на литературном поприще; в нем как бы в зеркале увидели миниатюрного Марлинского, с его складом ума и сердца, с его оригинальною, саркастическою речью, наблюдательным взором и пылким воображением.

Непонятно, каким образом при однообразной корпусной обстановке он ежедневно находил столько сил в своей ребяческой головке, чтоб наполнять целые страницы дневника, не повторяясь в описании происшествий обыденной жизни или в изображении длинной галлерей портретов, сменяя веселый тон на более сурьезный и даже иногда впадая в сентиментальную элегию. Та часть его дневника, где он в карикатуре чертил портреты своих товарищей, учителей, офицеров и даже служителей, была особенно хороша. Поля и даже целые страницы между текстом были исчерчены изображением отдельных лиц и даже целых групп, так что я иногда, при посещении Горного корпуса, узнавал личность без предварительной рекомендации. Эту способность к рисованию первоначально он получил в Академии художеств, где лучшие професссы живописи давали уроки ему и брату Николаю, который впослед-

ствии был очень хорошим живописцем акварелью и масляными красками как портретист и пейзажист, а Александр...

«Он к модным знаниям стремя дары природы,
Был мастер рисовать одни карикатуры».

И это невольное влечение — схватывать во всем смешную сторону предмета и передавать словом, карандашом и пером — часто было источником больших неприятностей как в корпусе, так и потом на службе. Однажды эта слабость едва не стоила ему жизни, когда, будучи уже в лейб-гвардии драгунском полку, он изобразил все общество офицеров в карикатурном виде птиц и животных; все, узнавая себя, смеялись; только один, представленный в образе индейского петуха, обиделся за шутку, — и они стрелялись.

Казалось, что с такою склонностью к насмешке он должен был много иметь врагов; напротив, он был любим всеми, где жил и служил. В его беседе, безыскусственно-живой, веселой и общительной, все остроты и сарказмы сопровождались такою наивностью и теплотою чувств, что они казались такою же неотъемлемою принадлежностью его речи, как пена и брызчик шампанскому. В сношениях с родными веяло сердечною теплотой; братьев и сестер он любил всеми силами своей любящей души, но когда дело шло о дружбе, то он облакал ее в броню Баярда и хотел, чтоб она рождалась, как Минерва; совершенною и совершеннолетнею, а потому в обращении со мною, как с другом еще незрелым, был оттенок диктаторства, которому я бессознательно покорялся с полной уверенностью, что он мне желает добра. Из многих случаев приведу один. На Крестовском острове, по соседству с нашею дачей, было очень много мальчиков, с нами однолеток. Однажды, когда нам надоели игры в солдатиков, мы стали играть в разбойников; начальство было присуждено брату Александру. Этот титул он принял как должную дань, но затруднился только, какое принять имя: Карла Мора или Ринальдо. Но, впрочем, он колебался недолго: антипатия ко всему немец-

кому взяла свое, и он принял титул Ринальдо Ринальдини. Началось действие. Ринальдо занимает с своей шайкой маленький островок, сообщавшийся с материком посредством небольшого плотика. Сбиры святой Германдаты нас окружили; нам угрожало неминуемое поражение и плен. Ринальдо приказывает отступить. Все бросились через кусты на плот; я один не расслышал сигнала, а когда он был повторен, плот уже отчалил, так что, прибежав к берегу, я остановился в нерешительности.

— Скажи, если не хочешь быть в плену, — закричал Ринальдо Ринальдини.

С необычайным усилием я совершил *salto mortale*... Падая на плот, я поскользнулся на мокрых досках, крепко ударился затылком — и лишился чувств. Что было потом, я не помню. Очнувшись, я увидел себя на плечах изнемогавшего от усталости брата; у него еще хватило настолько сил, чтоб поднести меня к реке, освежить и обмыть от крови мою голову.

— Ну, Мишель, — говорил он, ласкаясь ко мне, — рад я, что ты очнулся, а то мы бы перепугали матушку и сестер. Ты крепко ушибся, в этом я виноват, зато ты не попался в руки сбиров, ведь это было бы стыдно, а теперь, напротив, ты себя вел прекрасно. Братцы! я горжусь им и делаю его своим помощником, — заключил он, обращаясь к разбойникам, окружавшим нас.

Другой случай тоже носит отпечаток подобного рыцарства.

Там же, на Крестовском острове, отряд маленьких удальцов, под начальством брата Александра, завладел лодкою, и мы поплыли вниз по речке, обтекающей кругом острова. Проплывая под мостом, лодка ударилась о подводную сваю и проломилась. Едва течением сорвало лодку с подводной сваи, как она начала наполняться водою. Нам грозила верная смерть. Все храбрые сподвижники Ринальдо оказались страшными трусами и думали искать спасения в отчаянных криках, которые совершенно заглушались пронзительным голосом маленького брата Петруши. Не потерялся только наш атаман

Ринальдо. Он снял с себя куртку и заткнул наскоро дыру; потом схватил брата Петра и, приподняв над водой, закричал: «Трусишка! ежели ты не перестанешь кричать, я тебя брошу в воду». Хотя мне тоже было страшно, но я кричать не смел. Воцарилась тишина, а нас между тем несло на середину реки, потому что единственный человек, бывший между нами, г. Шмит, — едва ли не вдвое старше старшего из нас, — который управлялся с веслами, до того потерялся, что вместо гребли кричал в такт: ух! ух! — и махал веслами по воздуху. Брат Александр вырвал у него весло, сел сам и велел мне взять другое. Мы скоро приткнулись к берегу. Брат выскочил с причалом, но, выскакивая, оттолкнул лодку назад, и она пошла опять в реку, таща за собою брата, который не хотел бросить веревки и неминуемо погиб бы, если бы ему не удалось ухватиться за свесившийся сук дерева и тем остановить и притащить к берегу лодку.

С таким экзальтированным настроением, с такою впечатлительною натурою, частое посещение в детстве Академии художеств братом приметно развило в нем чувство изящного. Я помню его восторженное описание всего виденного им в залах Академии, описание натурального класса, причем каждый раз он собственно своею персоною представлял натурщика.

В корпусе он был прилежным учеником, но не во всех предметах одинаково: так, он не слишком жаловал немецкий язык и особенно математические науки. В прочих классах он постоянно был или первым, или из первых, а если случалось, что он терял первенство, — я всегда читал на его лице неудовольствие. Желание первенствовать, отличиться во всем и над всеми было уже в те лета преобладающим элементом его характера, и потому даже незначительное понижение в классе было для него истинным мучением до тех пор, пока он с лихвою не завоевывал высшее место. Эта перемена мест совершалась посредством частых месячных экзаменов, где экзаминаторами были взаимно состязующиеся соперники, и чтоб занять место противника, надо было его, по кадетской терминологии, за г о-

н я т ь. К такой битве претендент готовился задолго до решительного вызова на бой и часто, нападая врасплох, получал легкую победу, но редко случалось, чтоб первые в классе проигрывали сражение, потому что всегда держали себя наготове. Надо было посмотреть тогда на лихорадочную деятельность брата Александра. Дни и ночи просиживал он над книгами, картами и тетрадями, составляя бесконечные таблицы хронологических чисел, исторических имен и проч., испещряя их иероглифическими знаками, заметками, вопросами или просто вопросительными знаками (?), «крючками», — как выражался брат, — которыми надо п о д к р ю ч и т ь противника». Сам я с детства и до старости от бога не обижен был памятью: с ее помощью я на 16-м году выдержал экзамен на чин морского офицера, а впоследствии изучил шесть языков при недостатке всех материальных пособий; но у меня голова шла кругом, когда, бывало, он просил меня проэкзаменовать себя по составленным таблицам. Часто, развернув атлас, он приказывал мне задать для отыскания самую мелкую подпись — значит самую ничтожную, и указывал без всякого затруднения. Однажды я спросил его:

— Отчего же, Саша, ты так все хорошо знаешь, а тебе в истории сели три человека на голову?

— Причиною всему злу мой О ч а р о в а н н ы й л е с, — отвечал он, — ты знаешь, я как примусь за что, то не могу оторваться. Когда я его сочинял — уроки шли своим чередом; я отстал, а это подметили, и я слетел.

Нельзя оставить без внимания этот «О ч а р о в а н н ы й л е с» — как потому, что он был вторым литературным его произведением после дневника, так и потому, что в нем уже ясно была заметна претензия на авторство: в нем автор уже являлся перед публикой не замарашкою, как в дневнике, а в costume мальчика, выехавшего впервые на гулянье. «Очарованный лес» был довольно большая пьеса, в пять актов, составленная им для кукольного театра, который мы устроили общими силами. Все, что он только мог заметить особенного в Днепровской русалке,

Князе невидимке, Волшебной флейте или Тысяче и одной ночи, все было пересоздано и помещено в его «Очарованном лесу».¹ Тут были храбрый князь и очарованная княжна, его стрелянная и ее наперстница; шут — вроде Кифара, и трус — вроде Тарабара; добрая волшебница и Зломир; русалка и чорт; заколдованный замок и очарованный лес. Несмотря на всю эту чертовщину, надо было отдать брату достойную похвалу его умению поддержать сказочный интерес пьесы, не спутываясь в лабиринте волшебных вымыслов, и искусному расположению хода сценических явлений. Язык действующих лиц был очень хорошо приурочен к характерам, так, например, князь или волшебник говорили хотя напыщенно-величаво, но плавно и эффектно; трус-оруженосец был уморительно смешон, а шут — саркастически едок: он беспрестанно сыплет каламбурами и играет созвучием русских слов. Хоры охотников и русалок были написаны стихами, а речи подземных обитателей мерною прозою. Жаль и очень жаль, что этот любопытный документ, повидимому, не сохранился и, вероятно, был истреблен со многими другими бумагами в 1825 году: незадолго перед этим я его еще читал, вспоминая прошлое. Он послужил бы лучшим оправданием против тех обвинений критиков, которые упрекали брата впоследствии за искусственную цветистость слога, и доказал бы, что этот недостаток, если это можно назвать недостатком, был у него не вымышленный, а врожденный.

Отец, с целью развить в нем склонность к ремеслу, решил брать с фабрики все инструменты и материалы, которые мы найдем нужными для осуществления наших детских проектов. С таким пособием мы легко могли бы снабдить весь наш сценический репертуар куклами, но для того надо было время и терпение. Ни того, ни другого у нас не доставало. Брат Александр ограничился для первого представления куклами главных лиц, остальные были вырезаны из картона и раскрашены собственною его рукой. Большая часть декораций была сделана с помощью воспитанников Академии

художеств, которые безжалостно исправляли в его альбоме ошибки и грехи против перспективы и вкуса. Смутно помню я наши репетиции, как брат управлял своими куклами, как учил, поправлял, распекал нас, второстепенных деятелей. Смутно помню первое представление, сопровождаемое смехом и рукоплесканием, особенно, когда появлялся шут или трус-оруженосец, и, наконец, очень хорошо запомнил два обстоятельства, невольно запавшие в мою память. Одно состояло в том, что трус-лакомка оруженосец в очарованном лесу, прельстившись яблоком, несмотря на запрет, хочет сорвать его, но в ту минуту, когда он подошел к дереву, проволока, приводящая в движение руки, порвалась, и руки, вместо того чтоб подняться, опустились без движения. Мы ахнули, не потерялся только брат Александр: он вывел на сцену шута и начал импровизацию, которую так ловко связал с ходом пьесы, что эффект едва ли не был лучше. Потом, когда черти, долженствовавшие появиться в воздухе нескончаемую вереницею, спустились, то брат приказал всех их бросить на сцену, сказав: «ну, не хотят летать по воздуху — пусть валяются на земле».

Он подготовлял для своего театра и другие пьесы; писал ли он их, или они были только в проекте — я не знаю; знаю только, что декорации для них готовились. Это упражнение, под руководством художников, так развило его декоративный талант, что когда впоследствии в Горном корпусе образовался театр, он был главным декоратором и костюмером. Театр был очень изящно устроен, и на нем разыгрывались очень миленькие пьески; список актеров, состоящий из весьма талантливых кадет, был очень длинен, но, несмотря на то, брат всегда брал роли по своему произволу, и выбор его по большей части падал на самые эффектные. Особенно он хорош был в роли Фрица в комедии Коцебу «Пажеские шутки».

Так текла его корпусная жизнь; казалось, он свыкся с идеею горной службы, и ничто не предвещало переворота в его мыслях, как вдруг все неожиданно изменилось. Брат Николай,

по обязанности корпусного офицера, был назначен в крейсерство с гардемаринами между Петергофом и Кронштадтом и на всё время вакаций взял Александра к себе на фрегат. Двухмесячного плавания в море было достаточно, чтоб произвести сильное впечатление на его восприимчивую душу. Он окунулся в новый для него мир неведомых доселе красот природы и душевных потрясений и, увлекаемый обаятельною силой, не противился увлечению. Горную службу он возненавидел и горько жаловался на судьбу свою.

— Посмотри, — говорил он мне, когда мы спускались в искусственные шахты, устроенные в Горном корпусе для наглядного приучения воспитанников к их будущей жизни, — посмотри, вот катакомбы, вот те гробы, где нас погребут заживо. Я этого не вынесу. Для моей души необходим свет божий, широкое раздолье и свобода. Море может только дать все это... Ах! как прекрасно море!

По рассказам брата Николая, в нем очень быстро совершился перелом. В начале похода, очутившись в обстановке, совершенно для него чуждой, не втянувшись в новую жизнь моряка, он как-то робко оглядывался и действовал несмело, что подало повод брату Николаю запретить ему лазить по мачтам и участвовать в матросских работах, обыкновенно исполняемых гардемаринами. «Однажды, — говорил брат Николай, — когда фрегат, став на якорь в устье Невы, приготовлял баркас, чтобы на нем отправить заболевшего гардемарина в корпусной лазарет, брат Александр вошел в мою каюту и действительно просил меня отпустить его домой. На вопрос мой о причине — он сказал: „Брат, твои запрещения сделали меня посмешищем всего фрегата: меня называют подземельным кротом, горною крысою и бог знает чем, чуть ли не трусом. Или ты позволишь мне жить наравне со всеми, или отпусти домой“». Он был прав, и я, скрепя сердце, снял запрещение. На утро он уже явился в матросской рубашке, широких парусинных брюках, с фуражкой набекрень, пристегнутой на ремешке, подпоясанный смоленою веревкою, одним словом, как лихой

с т а р и к,* истый ф о р - м а р с о в о й,** и, чтоб доказать на деле, что он не ворона в павлиньих перьях, бросился в матросский омут, очертя голову. Иногда у меня замирало сердце, когда из молодчества он бежал, не держась, по рее, чтоб крепить ш т ы к - б о л т,*** или спускался вниз головою по одной веревке с самого верха мачты, или, катаясь на шлюпке в крепкий ветер, нес такие паруса, что бортом черпало воду. Матросское мастерство, морскую терминологию вооружения и командные слова при различных эволюциях корабля он, так сказать, живьем проглотил. Он достиг своего, заслужил приязнь и уважение, его уже не дразнили более черной крысой, а напротив, самые старшие и старики гардемарины называли товарищем».

По окончании кампании он привез под родимый кров порядочный запас строго запрещенных для ввоза предметов; как то: смоленых и несмоленых веревок, блоков, разноцветного филздугу,**** пороху, сигнальных ракет, фальшфейеров.***** Он все это провез контрабандою, под фирмой братниного имущества; но запас рассказов был еще обильнее.

— Странно, Мишель! — говорил он мне, — как ты не вел журнала, когда вас везли на корабле в Свеаборг? Сколько любопытного ты видел и испытал. На твоём месте я бы непре-

* Корпусная терминология кадетов — что означает ловкого, сильного и имеющего большую власть над другими.

** На корпусном фрегате, так же как и на всяком военном корабле, фор-марсовые матросы выбираются из самих ловких и проворных.

*** Когда ветер крепчает, уменьшают площадь парусности, и для того у м а р с е л ей, по всей их ширине, параллельно к рее, за которую их привязывают, располагают три ряда веревочек; эти веревки и служат к тому, чтоб убавлять площадь парусности, а ш т ы к - б о л т есть веревка, закрепляющая убавку паруса на самом конце реи, что и называется крепить штык-болт — операция трудная и весьма опасная.

**** Шерстяная разноцветная ткань, из которой шьются флаги.

***** Состав бенгальского огня, употребляемого на море, чтоб, сожигая его, показать место корабля в темной ночи.

менно что-нибудь написал. Вот и теперь мне хочется написать морской роман или драму, где героем будет наш папа. Я опишу сражение, как он страшно был ранен, как его, вместе с убитыми, хотели бросить за борт, как артиллеристы из любви к нему выпросили позволение похоронить его на берегу; как после сражения его стали обмывать и как он ожил. Все опишу... Жаль только, что я никогда не видел большого корабля и не слышал, как палят большие пушки. Впрочем, мне Федор как-нибудь поможет, — и мы бежали к старику Федору, пестуну и дядьке отца нашего, и он в сотый раз рассказывал, со всеми подробностями и своим особенным языком: «о неизреченных страстях сражения с поганим шведом и как голубчику, батюшке вашему, осколком щепы как ни на есть отворотило, так сказать, нижнюю челюсть; каким поступком он воротился к животу, как через соломинку он получал питательство целых шесть месяцев и, пребывая нем, яко рыба, говорил только мнением и доказательством, т. е. (объяснял старик), когда ему что сделать потребно, то скажет мм... мм... и укажет...».

Не знаю, писал ли он предполагаемый роман, но знаю, что море с этой поры поглотило всю его кипучую деятельность. Театр был брошен, и на место его явилась модель фрегата. Много надо было уменья и терпения, чтоб приготовить и приспособлять микроскопические принадлежности к вооружению фрегата, имевшего длины не более полуаршина, но он с изумительною настойчивостию преодолевал затруднения. Попеременно он переходил к разнообразным техническим занятиям; он то кроил и шил паруса, то скручивал оснастку, то работал ножом, долотом или стругом, то отливал оловянные пушки, то раззолачивал кормовую резьбу или резал носовую фигуру, то красил рангоут и корпус фрегата. Мы с братом Петром помогали ему по мере сил и способностей наших, но исполняли более черную работу. Утомившись над кропотливой работой, мы бежали в сад, но и там преобладавшие им идеи его не оставляли, и все наши игры имели морской оттенок. К самым высоким деревьям мы прикрепляли веревочные лестницы, блоки, взбе-

гали или подымались на веревках на самые вершины, там устраивали площадки, вроде салингов,* где, поместившись, переговаривались с дерева на дерево сигнальными флагами, и когда сильный ветер нагонял грозу, мы спешили на свои мачты и там, при сильных размахах и скрипе тонкой вершины дерева, воображали себя в бурю на корабле.

Под игом этой, можно сказать, морской лихорадки он вымолил у матушки согласие на исключение его из Горного корпуса. Был бы жив отец ** — он бы его убедил, что счастье человека не всегда застегнуто в военном мундире и что с киркою в руке так же, как и со шпагою, можно быть полезным отечеству. Сбросив с себя горную амуницию, он деятельно принялся за приготовление себя к экзамену в гардемарины: работал без устали, преодолевая даже свою антипатию к математике, отдыхал только за чтением морских путешествий, и тогда его пылкое воображение носилось по безбрежным морям, посещало новооткрытые земли, полные чудес природы, или открывало новые миры, пророчившие ему будущую его славу. Но по мере того, как его корабль, оставляя берег, приближался к этим заветным мирам, он с грустью замечал, что доступ к ним постоянно замкнут рифами дифференциальных и интегральных формул, о которые разбивалось его терпение.

— Неужели без этого нельзя быть хорошим моряком? — спрашивал он брата Николая, его наставника. — Неужели гений Колумба нуждался в этом хаосе цифр с плюсами и минусами?

И когда брат логически доказывал ему, что именно эти плюсы и минусы дали средства Колумбу сделаться гением, что они вселили в него уверенность в его гениальные замыслы, дали ему силу и терпение преодолевать препятствия, а особенно, когда брат рисовал перед ним прозаическую сторону

* С а л и н г о м называется та площадка на втором колене мачты, где укрепляется третье колено мачты — брам-стенги. Второе колено мачты (стенги) укрепляется на площадке, называемой марсом.

** Отец умер 20 марта 1810 г. в СПбурге на 48-м году от рождения.

жизни моряка, — Александр слабел: он видел, как по частям распадалась его воздушные замки, пароксизмы его лихорадки становились слабее, и, наконец, он убедился, что настоящим моряком он не может быть, а дюжинным он ни за что на свете не будет. Я тогда был уже гардемаринном, и, по правде, мне досадно было лишиться в брате, которого я так любил, будущего товарища-сослуживца.

— Не стыдно ли тебе воротиться с полдороги, — говорил я. — Неужели ты пойдешь в армию, чтоб вытягивать носок?

— Боже меня сохрани от этого, — отвечал он. — Я буду инженер или артиллерист — смотря по обстоятельствам, и, вернее, артиллерист, как был и наш папа. Половина морской дороги, пройденная с братом Николаем, дала мне довольно силы, чтоб бороться с математикой. — И с свойственным ему рвением <он> принялся за изучение артиллерии и фортификации. Часы отдыхов были посвящены постройке миниатюрных укреплений, которые мы разбивали стрельбою из маленьких пушек и мортир, взрывом мин, занятиям по лабораторной части, результатом коих были очень милые фейерверки со щитами и фонтанами.

Но своевольной судьбе не угодно было, чтоб он плавал по морям, строил крепости или разбивал их; она решила иначе, и однажды, явившись перед братом, генерал Чичерин в мундире шефа лейб-драгунского полка держал такую речь:

— Друг мой, Саша! Ты не любишь фрунта, а хочешь быть полезным военной службе по ученой части — прекрасно! Но для этого одного желанья мало, надо иметь возможность, — т. е. на первый раз хоть добиться обер-офицерских эполет, а их тебе не дадут без знания фрунтовой службы, хоть бы ты с неба звезды хватал. Итак, если уже тебе нельзя миновать горькой участи, мы постараемся ее облегчить, сколько возможно. Вот мой совет: я беру тебя в свой полк юнкером; месяцев пять, шесть ты потрешь солдатскую ляжку и потом ты офицер, — ты свободен, и я благословляю тебя на все четыре стороны, — держи экзамен хоть прямо в начальники штаба.

Матушка, всегда уверенная в дружеском расположении к нашему дому генерала Чичерина, убедила брата принять его предложение, и через несколько месяцев он уже надел юнкерский мундир.

Не могу удержаться, чтоб в заключение не упомянуть одного обстоятельства. Офицерский чин я получил в 1817 г. и был так молод, что мне недоставало двух годов до определенного законом числа лет для первого чина. Брат Александр еще не был произведен в офицеры и хотя из гордости не сознавался, но солдатская лямка до боли терла его раздражительное самолюбие. Как-то мы с ним встретились на Невском проспекте, и он протянул руку, чтоб поздороваться.

— Вы не знаете своей обязанности, г. юнкер, сделайте фрунт и шапку долой.

Я не думал, чтоб слова мои, сказанные в шутку, произвели на него такое болезненное действие; он побледнел и совершенно растерялся, очень неловко повернулся, чтоб сделать фрунт, и снял фуражку.

— Не сердись на меня, милый Саша, — сказал я, взяв его почтительно под руку.

Он сделал почти машинально несколько шагов, остановился и спросил дрожащим голосом:

— Брат, что это значит?

— Мне хотелось отомстить тебе, Саша, за твое возвращение с полдороги, — отвечал я. — Если бы ты тогда не воротился, мы бы с тобою теперь прогуливались по Невскому в одинаковых мундирах.

— Ну, пожалуйста, вперед не шути так, — возразил он. — Прощай, солдату нельзя прогуливаться под руку с офицером; но знай, что я не останусь у тебя в долгу и отплачу тем, что перегоню тебя по службе.

Он сдержал свое слово и перегнал меня в штаб-офицерском чине, которым я только сравнялся с ним уже по переходе моём в гвардию.

Считаю лишним говорить о его солдатской службе: довольно упомянуть, что он нес ее с благородною гордостью и необыкновенным терпением. Самолюбие, желание отличия на каком бы то ни было поприще сделало из него славного солдата и еще более смелого наездника. Офицеры его полюбили, начальники не могли нахвалиться его исправностию, и через год он был произведен в офицеры. Лейб-драгунский полк тогда стоял в Петергофе, брат Александр жил в Марли, и потому первая его критическая статья появилась в журнале под псевдонимом Марлинского.

II

МЕЛКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ А. А. БЕСТУЖЕВЕ

1

(Дуэли и участие в них братьев Бестужевых)

Желая говорить с вами только языком истины, я уже прежде оговорился касательно слабеющей моей памяти, изменяющей более всего в именах и числах, и потому не сгугайте, ежели я, приводя факты верные, не могу припомнить эпох и имен. Я, в описании детства брата Александра, вам упоминал о его первой дуэли с офицером лейб-гвардии драгунского полка за его карикатурные рисунки, где все общество полка было представлено в образе животных. Вторая его дуэль была затеяна из-за танцев. Третья — с инженерным штаб-офицером, находившимся при герцоге Виртембергском, и это происходило во время поездки герцога, где брат и инженер составляли его свиту, и брат был вызван им за какое-то слово, понятое оскорбительным. В этих двух дуэлях никто из нас, даже Рылеев, не участвовал. В дуэли Рылеева с женихом сестры его брат Александр был секундантом. Дуэль была ожесточенная, на близкой дистанции. Пуля Рылеева ударила в ствол пистолета его противника и отклонила выстрел, направленный прямо в лоб Рылеева, в пятку ноги.¹